

1920-е ГОДЫ В ЭСТОНИИ — МОИМИ ГЛАЗАМИ

Т. МИЛЮТИНА

В двадцатые годы Эстония звала своих уроженцев вернуться, и мамина сестра — Зинаида Николаевна Дормидонтова, преподаватель русского языка и литературы, автор многих учебников, по которым в Эстонии учились в эстонских и русских школах, — оформила нашу оптацию и выслала в Крым нужные документы. Маму, как врача, из Крыма не выпустили. Она смогла вырваться только через полгода. Боясь, что мы погибнем от голода, мама решилась отпустить нас одних — меня, десятилетнюю, и бабушку, потерявшую после возвратного тифа память. Каким-то чудом — через всю вздыбленную Россию — мы добрались до Москвы, где в эстонском посольстве уже были присланные тетей Зиной для нас деньги. Московские знакомые были предупреждены ею о нашем появлении и приняли нас — грязных и, наверное, вшивых. Условия, в которых они жили, топя железную печку собственной мебелью, и вся заплыванная семечками и окурками Москва — навсегда впечатались в мою память.

Пострашающим контрастом со всем этим развалом была Эстония. Наш эшелон, состоявший из набитых оптантами товарных вагонов, прибыл в Нарву в 2 часа ночи. Нас повели в баню, одежду отправили в прожарку, вещи — в дезинфекцию. Под утро мы попали в чистейшее помещение карантина с аккуратно застеленными кроватями. Поразил меня утренний завтрак! Не успели мы прийти в себя, как назвали фамилию — Бежаницкая — и бабушке вручили пакет с еще теплыми котлетами и другой едой. Оказывается, наша дорогая тетя Зина заранее написала своей коллеге — учительнице Нарвской школы, прося ее следить за прибывающими эшелонами (списки оптантов вывешивались), и, увидев нашу фамилию, сразу же нести нам еду.

Были первые числа января 1922 года.

Через две недели за нами приехала тетя Зина и увезла нас в Тарту. И вагон с обитыми красным плюшем скамейками, и квартира тети Зины, полная чудесных книг — художественных изданий классиков, роскошных монографий художников, альбомов-открыток с картин Третьяковской галереи, богатой библиотекой моей двоюродной сестры Тани*, которая была только чуть старше меня, — воспринимались как чудо. Я сразу же была одета в Танины платья — всего было много, все было красиво.

Из карантина я привезла корь и заразила не только Таню, но и ее двух подруг, которые стали и для меня подругами на всю жизнь, — Валю и Лену Мюленталь.

Болела я чудесно: бабушка, чуть отодвинув темную занавеску на окне, читала мне интереснейшие книги. После крымских лепешек из растертых между плоскими камнями пшеничных зерен (заработок врача), поджаренных на дельфиньем жире, еда в тети Зинином доме была фантастически разнообразна и вкусна.

Чудесное лето прошло под Тарту, на хуторе, где тетя Зина снимала дачу. Столько было ягод и грибов, столько было выпито молока и съедено всего вкусного, что из заморыша я стала нормальной одиннадцатилетней девочкой и осенью поступила во второй класс русской гимназии Товарищества преподавателей. По нынешнему счету это был пятый класс средней школы. Окончила ее в 1929 г. — за год до этого гимназия стала городской.

Должна признаться, что гимназией я тяготилась, училась средне, хотя почему-то считалась хорошей ученицей; много и увлеченно читала.

Тарту моих школьных лет был немецко-прибалтийский, уютный, чистый, полный молодежи университетский город. Студенты и школьники носили форменные фуражки, и это очень украшало прохожих на улицах. Всюду мелькали студенческие деккели — белые и многоцветные «краски» корпорантов. Корпораций было много. Устраивались факельные шествия, в дни своих юбилеев очередная корпорация разъезжала на паро-конных экипажах (цвейшкеннер). Наш замечательный преподаватель истории — Берент — всегда по улице шел, окруженный студентами. При встрече с ученицей снимал шляпу, склоняясь

* Впоследствии — врач-лаборант Татьяна Сергеевна Белиовская.

в поклоне. Мгновенно все студенты срывали со своих голов «деккели». Книголюб, обладатель большого собрания редких книг — адвокат Эдельгауз — преподавал в старших классах гражданствоведение. Задумчиво глядел в журнал, выбирая, кого вызвать, постукивал карандашом и произносил: «Госпожа Бежаницкая, прошу вас» — и я, с душой ушедшей в пятки, принималась отвечать. Русские педагоги были совершенно другими.

Благодаря моей тете Зине мои школьные годы прошли очень интересно. Переехав в Таллинн, она стала преподавателем русского языка и литературы в Русской городской гимназии, позднее ее инспектором. Вместе с другим преподавателем — Владимиром Сергеевичем Соколовым — вела замечательный литературный кружок, многим определивший дальнейший путь жизни. Кроме того, они каждое лето устраивали для старших школьников поездки в ближайшие страны Европы. Мне кажется, что ни одна русская гимназия в Эстонии этого не делала.

В Таллиннской гимназии училась моя троюродная сестра — тоже Тамара Бежаницкая, как и я. В экскурсии она никогда не ездила, так что меня спокойно включали в список. Мама нужна была как сопровождающий врач. Стоимость поездки нас двоих чуть только превышала мамины отпускные деньги, так что была вполне доступна. Внесенные каждым участником экскурсии деньги покрывали железнодорожные расходы, экскурсоводов, билеты в музеи и на выставки, обеды в столовых. Жили все в вагоне — у каждого было свое спальное место. В очередном маленьком городке вагон ставился на запасных путях. В больших городах жили в школах. Эстония всегда славилась своими продуктами — ветчиной, копченой колбасой, нечерствеющими пряниками, сыром. У всех был взят с собой запас продуктов. В обязанность молодых людей входило приносить утром и вечером чайники кипятка и свежие булки. Днем в столовой плотно обедали, в городе покупали овощи и фрукты для вечернего ужина. Так я побывала в Латвии, Финляндии, Польше, Австрии и Чехословакии. Мама, использовав на поездку свой отпуск, принималась работать, а добрая тетя Зина брала меня к себе на снятую ею в Тойла или Гунгербурге дачу. Чудесное лето продолжалось.

В Тойла — не часто, — но видели Игоря Северянина. Дачников было много. Наши соседи весело уверяли, что проходя мимо домика, в котором жил Северянин у сво-

ей — единственной законной — жены Фелисы, слышали, как он посылает ее в погреб за салакой: «Сходи вниз, в лазоревое царство и принеси осалаченную тарелку». Не ручаюсь за правдивость, но похоже. Мы дружили с очень симпатичной девочкой, которая жила в Тойла со своей мамой, зарабатывавшей шитьем. Девочку звали Валя Лотарева, говорили, что она дочь Игоря Северянина.

В Тойла был чудесный парк вокруг Елисеевского дворца, жестоко уничтоженного во время войны. Мы покупали у садовника букеты сирени — махровой и необычайных оттенков. Сирень любила жена Елисеева. На втором этаже дворца показывали комнату, где она покончила с собой.

В Гунгербурге (Нарва-Йыесуу) тетя Зина снимала комнату в Шмецке — так назывался дальний ряд дач, очень красивых, с деревянной резьбой. Несколько из них принадлежали отцу Ирины Борман, которая писала стихи, была умным и своеобразным человеком, дружила с Игорем Северяниным.

Я проснулся в слегка остариненом
И оновеном тоже слегка —
Жизнерадостном доме Иринином
У оранжевого цветника.

Так писал о ее доме Игорь Северянин. Дважды мы были на концерте Северянина. Он приплывал в Гунгербург из Тойла — на лодке! Очень трудным было начало концерта — Северянин хмурился, неохотно читал стихи, потом вдохновлялся аплодисментами и овациями и начал почти петь.

О том, как свободно было с русским языком и как люди понимали шутку, говорит один пустячный эпизод. Одноклассница и подруга моей двоюродной сестры — Марина Верцинская (в будущем жена Константина Аренсбургера — председателя «Общества русских студентов», артиста и режиссера) — написала Тане письмо из Таллина со следующим адресом: «В Гунгербург среди морей, среди чудеснейших полей, по улице Луговой — в доме Дормидонтовой. Дома номер позабыт, но душа одно твердит — тридцать семь помножь на два — и получишь все сполна!» Смеющийся почтальон вручил Тане это письмо. Номер дома был 74.

В начале двадцатых годов большинство государств Европы стало странами русского рассеяния. Чужбина для многих на долгие годы обернулась житейским неблагополучием и физическим трудом.

Прибалтика, в которой было коренное русское население, заняла совершенно особое место и воспринималась как оазис, в котором жизнь русских продолжалась в обычных условиях.

Прибывшая из Петербурга и Пскова интеллигенция соединилась с коренными русскими из городов, пополнила состав преподавателей школ, гимназий и университета.

Русские крестьяне по-прежнему обрабатывали землю Печорского и Изборского края, жители побережья Чудского озера занимались рыболовством и выращивали лук. Русские рабочие трудились на Нарвской мануфактуре и заводах Таллинских предместий.

За «железным занавесом», который для Эстонии был поверхностью Чудского озера, — уничтожали церкви и монастыри. Эстония по-прежнему была украшена нетронутой Печорским и Пюхтицким монастырями. Ничем не нарушалась церковная жизнь, в школах преподавался Закон Божий. Дети учились в русских начальных школах и гимназиях. Благодаря прибывшим из России, преподавательский состав был исключительным. Особенно в Печорах.

Многие окончившие гимназию в Таллинне, Нарве или Печорах, приезжали в Тарту, чтобы поступить в университет. Талантливые молодые люди могли получить образование в Пражском университете, который давал русским стипендии. Доступным был и русский богословский институт в Париже.

Настойчиво желавшим изучить английский язык — можно было поехать в Англию — там всегда находилась работа, чтобы прожить какое-то время. Незабываемы рассказы Алексея Соколова, одного из самых талантливых молодых людей в Тарту. Труднейшее материальное положение семьи и ранний брак не дали ему возможности закончить университет. Несмотря на это, он был гораздо образованнее и начитаннее большинства студентов. «Черепаший пастух» — так назвал Алексей Соколов свои впечатления об английской жизни. Устные рассказы его невозможно забыть.

Первая его работа была — побелить потолок в квартире старой дамы. Леша заверил даму, что будет осторожен: на полу был драгоценный паркет. Сразу же упал с ведром белил с разъехавшейся стремянки. Дама беспокоилась — не ушибся ли Леша! Одно время был помощником садовника в старинном именье. Никогда не получал прямых распоряжений. Ему говорили: не кажется ли ему, что ветка слишком низко свисает? Он быстро шел и спиливал. Однажды ему надо было привести в порядок что-то на островочке посреди мелководного пруда. Алексей не воспользовался плоскодонной лодкой, на которой переправлялись на островок, а, надев сапоги, перешел: вода выше колен не доходила. Жена помещика даже заболела — так был унижен фамильный пруд!

Учение в Тартуском университете было платным. Вступительных экзаменов не было — надо было только представить свидетельство об окончании гимназии. Русская общественность очень помогала студентам: устраивались благотворительные вечера, собирались деньги. Университет освобождал от платы только тех, кто очень хорошо учился.

Большое значение имело «Общество русских студентов», где были устроены бесплатные обеды. Это очень помогало: финансово благополучных почти не было, стипендии получали очень немногие, общежитий не было — надо было снимать комнату.

Параллельно существовали русские корпорации — «Славия», «Этерна», недолгое время «Бозтея». Была даже женская корпорация «Сороритас Ориенс», устроенная тетей Зиной. Но корпорации с их немецкими обычаями, поединками и кутежами как-то чужды были русскому характеру и не оставили следа. А «Общество русских студентов» оставило!

«Общество» не только объединяло студентов разных факультетов и возрастов, но было как бы центром русской общественной жизни. Все русские культурные мероприятия устраивались при участии «Общества русских студентов»: лекции приезжавших профессоров, прием артистов и писателей, благотворительные вечера с интересной программой, веселые и серьезные субботники. Все это делало интересной жизнь, прививало хороший вкус, повышало культурный уровень.

Рижское издательство быстро и дешево выпускало литературные новинки — все достойное внимания в советской литературе и переводы зарубежных «бестселлеров».

Большое значение имел в Тарту «Магазин русской книги», собственником которого был Владимир Александрович Чумиков, просвещеннейший человек, обладатель большого собрания редких и ценных книг. Он почти всегда находился в магазине. Его помощницами были Валерия Михайловна Мюленталь (мои подруги Валя и Лена были ее дочери) и Раиса Владимировна Вильде (брат которой — Борис Вильде — стал героем французского Сопротивления). В магазине царил атмосфера доброжелательности, многие заходили ради общения с умными и начитанными людьми. Подобная обстановка была в Таллинне, в книжном магазине Алексея Алексеевича Булатова. Там была известная читальня. Привлекали туда не только книги, но личность самого хозяина.

Такое же значение имела в Тарту «Русская библиотека», где ее заведующая — Татьяна Николаевна Шмидт — могла посоветовать чтение.

В Латвии и Эстонии издавались русские газеты. Павел Иртель — на собственные деньги — издавал в Таллинне литературно-художественный альманах «Новь», прекрасный и полиграфически, и по содержанию.

Дважды в год — осенью и весной — Рижский драматический театр, с прекрасными артистами и интересным репертуаром, приезжал на гастроли в города Эстонии. Это было событие, которого ждали. Дело осложнялось тем, что весенние гастроли почти всегда совпадали с днями Великого поста. Наш замечательный — добрый, но строгий священник — отец Анатолий Остроумов осуждал нас, школьников, и запрещал ходить на театральные постановки, но не ходить было совершенно невозможно. Однажды я заслуженно пострадала. Ставилась пьеса «Глина в руках горшечника». На нее, действительно, школьникам не надо было идти. Учитель математики Дмитрий Львович Шумаков, когда увидел меня, закрыл глаза рукой, — значит, донес не он. Я, к несчастью, была старостой класса. Директор настойчиво пытался узнать, кто еще был из класса. В бальнике за полугодие мне была поставлена тройка по поведению.

В Тарту были и свои театральные постановки, но очень посредственные. Запомнилась постановка пьесы

Дм. Львовича Шумакова «Дом радости» — о школе. Замечательна она была тем, что все действующие лица были прекрасно загримированы под наших преподавателей. Пьеса ставилась в школе: преподаватели смотрели с неудовольствием, ученики злорадствовали — все в пьесе были противными.

На зимние каникулы или я уезжала в Таллинн и проводила их очень интересно в доме умной и жизнерадостной тети Зины, или приезжала к нам Таня. Однажды, когда мы были пятнадцатилетними, — она привезла скарлатину. Мы обе долго болели в палате заразной больницы. Благодаря моей маме болели празднично и интересно: она ежедневно навещала нас, принося книги и вкусное, а потом тщательно мылась и меняла одежду.

За время моей болезни в школе много прошли. Догнать все было нетрудно, кроме английского. Мама устроила меня брать уроки у Александра Григорьевича Черткова. Чрезвычайно красочная личность! Не знаю, как он оказался в Эстонии, — семья его жила в Париже. Жил он в маленьком одноэтажном домике, отдельно стоявшем во дворе. Дом был полон черных кошек. В мое время их, кажется, было 33! Все началось с того, что Черткову подарили котенка — очаровательную черную кошечку. Назвал он ее Кили-Кили — что-то индусское. Первых котят удалось раздать, но последующих... Беда была в том, что Чертков был толстовцем по убеждениям (родственником толстовского Черткова), твердо стоял на том, что никого нельзя убивать, сам был вегетарианцем, топить рождавшихся котят не мог. Тайно это делали соседи, но все равно кошек было множество. Чертков пытался приучить кошек к овсянке, возмущался, что они требуют рыбу и мясо.

Чертков увлекался теософией, оккультизмом, всем индусским... На уроки я ходила с увлечением — мы читали Оскара Уайльда. Иногда Чертков уходил в другую комнатку и возвращался оттуда более оживленным. Неодобрительные слова знавших, что он наркоман, увы, были справедливы. Человек он был интереснейший, и я ему многим обязана. Ходила я к нему на уроки в одном и том же платье, которое по возвращении домой сразу же снималось и вывешивалось в дровяной сарайчик проветриваться.

Чертков бывал у нас, подчеркивал свое вегетарианство и уверял, что даже от съеденного яйца у него начинаются страшные судороги. Но во всем печеном и вкусном всегда есть яйца — особенно в пасхе и куличах! Ел с большим удовольствием — судорог не было!

Английский язык он преподавал в нашей гимназии. Очень своеобразно ставил оценки за диктовки. Работы проверяли два хороших ученика и ставили пять тому, у кого было наименьшее число ошибок, и двойку тому, у кого наибольшее. Остальным отметки вычисляли арифметически.

Все школьные годы я дружила с Леной Мюленталь. Дружба продолжается и до сих пор. У Лены было много подруг — все тянулись в ее добрый, гостеприимный дом, к ее маме — Валерии Михайловне. В школе мне очень помогало то, что я сидела в одном ряду с Леной, по-настоящему хорошей ученицей. К ней, перед началом урока, сбегались девочки, умоляя быстро рассказать заданное. Я внимательно слушала и, если меня вызывали, хорошо отвечала.

Валерия Михайловна Мюленталь и ее дочери Валя и Лена жили в частично принадлежавшем им доме.

Муж Валерии Михайловны очень рано умер от туберкулеза, он был прибалтийским немцем, прекрасным человеком европейской и русской культуры. Сама Валерия Михайловна была русским человеком, в самом высоком значении этого слова. В ее московской семье (она была урожденная Маркелова) — и родство с поэтом Майковым, и свойство со Скрябиными.

За домом был большой сад с деревьями, кустами, лужайками, где мы играли в «казаки-разбойники» и «платки». Это — горка напротив театра «Ванемуйне», на которой сейчас сквер с газонами, деревьями и дорожками. По-прежнему высокая стена, сложенная из валунов, подпирает эту горку со стороны улицы Ванемуйне; деревянных домов больше нет.

Я очень часто бывала у Лены. Валя и Лена прекрасно пели. Несмотря на очень скромные материальные возможности, добрая Валерия Михайловна взяла к себе нашу одноклассницу, сбежавшую от очень нехорошей мачехи, и дала ей образование в школе мед. сестер.

Иногда мы засиживались и оставались на ужин. Обычно это бывала жареная картошка и чай из сушеных яблочных кожурок. За столом было так интересно, остроумно и весело, что все казалось гораздо вкуснее, чем дома.

Мы с мамой жили вдвоем — бабушка так и осталась на попечении тети Зины и была у нее в Таллинне. Деревянный одноэтажный домик в Заречной части Тарту, по улице Киви 71 — стоит до сих пор. Правая половина домика — была наша квартира, где жила мама, я и наш очень любимый фокстерьер Фомка. Часть кухни была отделена занавеской — это была «комната» нашей прислуги Матильды. Человек она была пожилой, одинокий, очень своеобразный. По-русски она не говорила, нами командовала, прекрасно готовила и любила блеснуть, но предварительно всегда устраивала маме сцену протеста, когда слышала, что будут гости. А гости к нам часто не только приходили, но приезжали и у нас гостили. Теперь, вспоминая, я удивляюсь, как все помещались: комнат было три — гостиная, столовая и наша с мамой спальня. Освещение — керосиновые лампы, отопление — дрова. Благодаря Матильде, я заговорила по-эстонски, а наша кладовка (в Эстонии она называлась шафрейка) была полна банками с вареньем и всякими соленьями и маринадами.

Город был украшен молодежью и жил уютной жизнью.

Ботанический сад был хорош и летом, и зимой. Одна из оранжерей была только для орхидей. Они зацветали почти одновременно, это было событие — все ходили ими любоваться. А зимой на прудах Ботанического сада был каток, по вечерам играл оркестр.

С весны до осени оживленным и нарядным был Эмбах (Эмайыги). Лодочная станция Редера имела не только легкие весельные лодки на разное количество пар весел, но прекрасные парусники и байдарки. Все это плыло и несло вверх по течению до Квиссенталя.

В Тарту любили праздники и умели их праздновать. В конце ноября у лютеран начинались рождественские адвенты. По воскресеньям люди вечером поднимались на Домберг к развалинам монастыря и слушали хоралы, которые исполняли спрятавшиеся в развалинах студенты.

Праздники праздновались одновременно и православными, и лютеранами. 24-го декабря елки зажигались во всех домах. Рождество было настоящим детским празд-

ником. Новый год был праздником взрослых, праздником гражданским — с балом, вечерами, катаньем на санях.

В Тарту был и свой собственный торжественный, но грустный день: каждое 14 января вспоминали зверское убийство уходящими «красными» заложников в 1919 г. Среди убитых было три православных священнослужителя — епископ Платон, протоиереи — о. Михаил Блейве, настоятель Успенского собора, и о. Николай Бежаницкий, настоятель эстонской православной церкви, — мой дедушка. Убит был пастор лютеранской церкви — Трауготт Хаан, несколько эстонцев и евреев. Это было горестное событие для всего города. Приезжал митрополит. После литургии в Успенском соборе служилась торжественная панихида. Посреди церкви стояли не только священники всех православных приходов — эстонских и русских, но и пасторы лютеранских церквей. Крестный ход с хоругвями и иконами, с поющим хором шел к погребу Кредитной кассы, где было совершено убийство. В 1929 г. там была сооружена часовня. Представители еврейской общины ждали выхода крестного хода из церковной ограды и присоединялись к процессии. Все были едины.

В 1940-м г. это было прекращено, часовня разрушена.

В 75-ю годовщину — 14 января 1994 г. лютеранский и православный приходы на собранные деньги установили мемориальную доску на стене того здания, где было совершено убийство (теперь это детская библиотека).

А Пасха! Богослужения Страстной недели и Пасхальная ночь — это всегда событие. Очень украшал праздники колокольный звон — в первый день Пасхи каждый мог подняться на колокольню и звонить. Три первых дня Пасхи еду не готовили: все было приготовлено заранее — и куличи, и пасха, и крашеные яйца, и запеченый окорок, и студень, и пироги, и бульон. Первыми гостями были дворник и почтальон. Так же было и на Новый год, с той только разницей, что на Новый год они получали деньги, а на Пасху они были еще и гостями, которых угощали.

К сожалению, не все русские семьи так благополучно жили. Правильно написала Вера Ивановна Поска-Грюнталь в своей книге «See oli Eestis. 1919–1944» в главе о докторе Бежаницкой: «Кроме огромного числа пациентов у нее была еще другая общественная задача — помогать своим соотечественникам, которые в годы 1918–1919 бежали от коммунистов в Эстонию и здесь пытались вновь

устроить свою жизнь. Теперь, когда многие, в 1944 году выбравшиеся в свободный мир, сами испытали, что означает быть беженцем — мы понимаем, что наше отношение к своим беженцам могло бы быть более справедливым».

Мне кажется, что из уехавших за границу очень мало кто это понял. Не понимают и в девяностые годы.

Самые добрые, дружеские чувства, единомыслие и полное взаимное понимание — связывали мою маму с Валерией Михайловной Мюленталь (для меня — тетей Вале́й) и с доктором Элизабет Фогель (для меня — тетей Лизой). Эта настоящая дружба перешла в дружбу нас, детей — Вали и Лены Мюленталь (Лена моя одноклассница) и Музы Фогель (в замужестве Мадаус). Добрые и верные чувства наших семей продолжают и в девяностые годы. Валерия Георгиевна Ляпунова и Елена Георгиевна Мюленталь с 1945 г. живут в Нью-Йорке, Муза Мадаус — в Гамбурге. Переписка держит нас в курсе наших радостей и горестей. Их материальную помощь со времени нашего возвращения из Сибири в 1957 г. (т.е. в течение 35 лет!) невозможно исчислить.

В конце тридцатых годов у мамы началась дружба с Верой Ивановной Поска-Грюнталь (дочерью Яана Поска), которая продолжалась долгие годы даже после маминого возвращения из Сибири — в переписке из Швеции.

И хотя из этих трех ближайших друзей только Валерия Михайловна Мюленталь была по крови чисто русским человеком, — доктор Фогель была прибалтийской немкой, а Вера Поска-Грюнталь эстонкой, — все они выросли на русской культуре, и это было их богатством, как и многих интеллигентных эстонцев, получивших образование в России.

И доктор Клавдия Николаевна Бежаницкая, и доктор Елизавета Карловна Фогель — были врачами на постоянной зарплате, никогда не бравшие с больных денег. Доктор Фогель была врачом Социального Обеспечения, в просторечье — врачом для бедных, доктор Бежаницкая с 1923 г. начала борьбу с туберкулезом, была врачом и заведующей Тартуского тубдиспансера.

В книге Веры Поска-Грюнталь «*See oli Eestis. 1919–1944*», изданной в Швеции в 1975 г. на эстонском языке, в главе «Доктор Клавдия Бежаницкая» написано: «Для нее все люди были одинаково ценными — независимо от национальности, вероисповедания, общественного положения.

<...> Ее отношение к больным было необычным, она давала им не только чисто медицинскую помощь — к этому прибавлялось еще и душевное лечение, она заботилась о психическом равновесии своих больных».

Все это можно сказать и докторе Фогель.

* * *

Гостеприимным и добрым был дом Масловых. Моя мама бывала там не только как гостя, а и как врач. Ната Маслова, студентка химического факультета, была туберкулезной, мама следила за лечением.

Невозможно забыть, как я первый раз попала в этот дом и увидела Митю Маслова. Мама взяла меня с собой. Дверь открыл Митя, совершенно забинтованный — были видны только глаза и сделаны какие-то щели для дыхания. Оказывается, накануне, чтобы развлечь сестру и ее гостей, Митя поджег ракету в Натинной комнате! Окно на зиму плотно заклеено, стены в коврах — ракета металась, обжигая ловившего ее Митю, наконец вырвалась в открытую форточку.

Митя усадил меня в своей комнате в кресло, сам уселся на край письменного стола, и на меня обрушился настоящий ливень стихов. Я слушала, как зачарованная, мне не было еще 16-ти, все было для меня ново. Так Митя взял надо мной опеку. Великая ему за это благодарность. В первый раз это были стихи Есенина. Его собственные стихи, никогда и нигде не печатавшиеся, — очень душевны и хороши. Митя сильно заикался, но стихи читал гладко.

Семья Масловых была необычайна не только для того времени. Ольга Константиновна — мать Мити и Наты — разошлась со своим мужем — купцом Василием Романовичем Масловым и вышла замуж за другого. Но что-то не сладилось в этом браке, она вторично разошлась и поступила гувернанткой к своим собственным детям! Василий Романович переселился в очень неудобную квартиру над своей лавкой, предоставив свой дом с садом в полное владение Ольги Константиновны и детей. По воскресеньям братья Масловы — Василий и Изот Романовичи — имели право прийти и попить чаю с пирогами, послушать и посмотреть на Ольгу Константиновну, которую очень чтили.

У нас стал бывать друг Мити Маслова — как я тогда думала — тоже поэт, студент-химик Борис Нарциссов. Родители его жили на Чудском озере, отец был учите-

лем, семья была большая, жили трудно. Борис кончил гимназию, поступил на химический факультет, очень недобдуманно сделал предложение Митиной сестре Наталье Васильевне, которая была его значительно старше и уже кончала химический. Получив отказ, не счел для себя возможным продолжать бывать у Масловых.

В Америке, где Борис Нарциссов прожил вторую половину своей жизни, вышло несколько сборников его стихов, а после смерти, по его желанию, жена издала книгу его рассказов, названную «Письмо к самому себе. Адресат неизвестен». В первом рассказе, того же названия, Борис говорит о Масловском доме, о Мите, называя его Витькой, о Нате, называя ее Татой, восторженно о Черткове, называя его Учитель, и очень правильно и хорошо об Ольге Константиновне: «Дом был старозаветный, местных сторожилов с достатком, и уж если должен быть в городе праведник, чтобы город стоял, то Витькина мать и была такой праведницей. Ее нет давно на свете... а тогда она кормила меня, гимназиста, отощавшего без мамы и папы в городе, да приятелю моему, жившему со мною, в кастрюльку ужин накладывала. И не за эту кормежку вспоминаю я ее, как праведницу, а за бесконечную доброту и доверие к людям. Так вот, пока мы с Витей были в одном классе гимназии, Витькина мама придумала следующее: я буду приходить по вечерам и заниматься с Витькой по всем грамотам, а она будет кормить меня ужином, а по воскресеньям обедом. Так прошел один гимназический год — я окончил гимназию и был принят в университет, а Витька остался. Я продолжал с ним заниматься по-прежнему <...> Ум у Таты был быстрый и насмешливый, а язык острый... она была очень наблюдательной и сразу ловила слабые и смешные стороны окружающих».

Борису было тяжело остаться без уюта и поддержки Масловского дома. Мне кажется, что он прилепился к нам именно потому, что никак его нельзя было заподозрить в жениховстве: маме было в 1927 г. 37 лет, мне только что исполнилось 16. Борис принялся «опекать» меня, думаю, из соперничества с Митей. Борис читал мне не только стихи, но, главным образом, Фрейда! Водил на каток и на субботники в «Общество русских студентов» и, конечно, к цветущим орхидеям.

Из Таллинна приезжал к своим родным Юрий Иваск. Семья их была необычной: два брата-эстонца, люди рус-

ской и европейской культуры (один стал известным экслибрисистом), — женились на двух сестрах из прекрасной московской русской семьи. Так как такие браки православная церковь не одобряла, то они венчались в один и тот же час в двух подмосковных церквях. Родившиеся в одной семье Юра, а в другой семье Леля (живущая в Тарту Елена Удовна Кульпа) были больше, чем двоюродные, они чувствовали себя родными.

Однажды пришедший к нам Юра Иваск застал у нас Бориса Нарциссова. Оба были совершенно разные — единственное, что было общим — высокий рост. Борис был очень красивый, с темными волосами, синими глазами и вспыхивающим на щеках румянцем. А Юра был совершенно белесый, в веснушках. Оба тогда уже были «личности незаурядные» — поэты! очень друг перед другом важничали, даже говорили как-то в нос. «Да, да, я помню, — говорил Юрий Иваск, — был у вас и интересный школьный журнал. Там был рисунок — что-то гнойное — кажется назывался «Зловонный палец»?

— «Прокаженный перст»! — строго и сухо сказал Борис. Не знаю, как удержалась от смеха моя мама, — мне пришлось выскочить в кухню!

Чтобы кончить рассказ о Борисе того времени, придется забежать вперед. У Гриммов собирались, чтобы слушать стихи Марии Владимировны Гримм. Были приглашены Масловы, маму просили привести Бориса Нарциссова. В гостиной все сидели на поставленных в круг старинных стульях, с высокими резными спинками. Мама и я сидели напротив Мити и Наты Масловых. Я напряженно смотрела на Нату — очередь читать стихи дошла до Бориса. Он встал, зашел за мой стул и взялся руками за его спинку. Я представила себе его синие глаза, впившиеся в лицо Натальи Васильевны так же, как его руки впелись в мой несчастный стул. Он знал свои стихи наизусть — это были его «Орхидеи»:

В сырых лесах Мадагаскара,
Средь лихорадочных болот,
Струя таинственные чары,
Цветок неведомый растет.

Как крылья бабочек пестрея
С земли взбираясь на кусты,
Пятнисто-белой орхидеи
Цветут жемчужные цветы.

Болото влажно пахнет тинной. . .

Но заглушая терпкий яд,
Переплетаясь с ним невинно,
Струится тонкий аромат.

А из-под листьев орхидей,
Свисая с веток и суков
Выходят матовые змеи
Бессильно нежных черенков.

И кто в кустарник заплетенный
Цветами странными войдет —
Тот забывает, опьяненный,
Весь мир и запах нежный пьет.

Он видит дивные виденья,
Неповторимо сладкий сон
И в неизбежном наслажденьи
Безвольно долу никнет он.

Над ним качает орхидея
Гирлянды бабочек-цветов
К нему ползут бесшумно змеи
Бессильно-нежных черенков.

И в тело медленно впиваясь,
И кровь и соки жадно пьют —
И к обреченному спускаясь,
Цветы острее запах льют.

Стихотворение произвело ошеломляющее впечатление. Все видели, к кому оно обращено. Ничего общего не было у прекрасной, строгой и совершенно чистой Наталии Васильевны с этим колдовским, очень гумилевским стихотворением. Самолюбивому Борису хотелось отомстить. Окончив, он просил прощения у хозяев, что должен уйти. Несколько дней не приходил к нам.

* * *

Весной 1927 г. в моей жизни, да и не только в моей, произошло большое событие — я услышала о русском студенческом христианском Движении.

Один день провела в Тарту жившая в Париже Софья Михайловна Зернова — центральный секретарь русского студенческого христианского движения. До этого она побывала в Риге, а после Тарту поехала в Таллинн. Собрание в Тарту было в «Обществе русских студентов».

Софья Михайловна рассказывала о жизни русской молодежи в странах русского рассеяния, о помощи югослав-

ского и чехословацкого правительств и многих благотворительных организаций стран Европы, которая дала возможность тысячам молодых русских эмигрантов получить высшее образование. Студенты понимали, что русская культура неразрывно связана с православием, и осознавали ту опасность, в которой она находится в Советском Союзе, и объединялись в кружки.

Осенью 1923 г. в замке Пшеров (Чехословакия) прошел первый съезд русских студентов в Европе. Это стало возможным благодаря помощи ИМКА (Христианский союз молодых людей) и Всемирной студенческой христианской федерации. На этой конференции, кроме студенческой молодежи стран русского рассеяния, были религиозные философы, высланные в 1922 г. из Советского Союза — о. Сергей Булгаков, Н. Бердяев, А. Карташев и В. Зеньковский. Так началось Русское студенческое христианское движение.

После приезда Софьи Михайловны Зерновой, покорившей всех своей красотой, молодостью, и убежденностью, — в Латвии и Эстонии возникли кружки Движения, в основном, из кружков ИВКА (Христианский союз молодых женщин).

В Тарту кружок возник совершенно самостоятельно по инициативе и вдохновению Дмитрия Маслова — поэта и вечного студента. Кружок был чрезвычайно своеобразный и очень интересный и по темам, и по составу участников. Великие спорщики, еженедельно собиравшиеся под гостеприимным кровом масловского дома, — были, по-моему, самыми интересными русскими людьми в Тарту. Юрист, приват-доцент Иван Давыдович Гримм (интереснейшая семья Гримм приехала в 27-ом г. из Праги), Василий Александрович Карамзин — «конный апостол», как его называли за его военную выправку и религиозность, высланный из Таллинна эстонскими властями за «слишком активную русскость», Владимир Николаевич Пашков — замечательный тартуский врач и общественный деятель, две студентки, кончающие химический факультет, — сестра Мити Маслова Наталья Васильевна, ставшая потом женой Ивана Давыдовича Гримма, и ее подруга Татьяна Михайловна Фомина (в замужестве Осипова) — впоследствии химик Нарвской мануфактуры и организатор и руководитель Движения в Нарве. Три совершенно не от мира сего студента: Дедик Круг, Гигоша Иртель и Ми-

тя Маслов. И, наконец, я — единственная школьница, которая была только слушательницей.

После очередного доклада начинались бурные дебаты, которые продолжались за чайным столом, душой и хозяйской которого была мать Мити и Наты — Ольга Константиновна. Кончалось все это очень поздно, и Митя всех разводил по домам. А я на уроках в школе всю неделю мечтала о следующем собрании.

Дедик Круг изумил нас в первое же свое появление в кружке: он не знал названия улицы, на которой он жил, и не умел объяснить, где она находится. Хорошо, что Тарту — маленький город и русские друг друга знают. Удалось добиться, что в одном с ним доме живет пианист Гамалея. Дедика проводили до дому. . . Рассказывали о нем следующее: его остановила полиция, поскольку ловили какого-то мошенника, и полицейские вежливо спрашивали у всех молодых прохожих паспорт. На удивление — паспорт у Дедика был, но он даже дату своего рождения не мог правильно сказать. Полицейский отвел его в участок. Там, по счастью, находился задержанный преподаватель «Палласа» — у него с собой не было паспорта — он подтвердил, что это Георгий Круг, ученик Высшей художественной школы. Полицейский, качая головой, отпустил Дедика.

Георгий Круг окончил в Тарту «Паллас», продолжал свое художественное обучение в Париже, куда переехала его семья, стал монахом и известным иконописцем. Замечательны его иконы. Есть его книга «Мысли об иконе», собранная и изданная после его смерти. О нем много написано. По его смирению, он — брат Григорий.

Гигоша Иртель — брат Павла Иртеля, издававшего в Таллинне альманах «Новь», которым могло бы гордиться любое европейское издательство, — окончил в Париже Богословский Институт, стал монахом — отцом Сергием.

Митя (Дмитрий Васильевич) Маслов оказал большое влияние на нас — тогда совсем молодых — своей вдохновенной любовью к поэзии, своими стихами, душевной чистотой и искренней верой.

Очень украсил русский Тарту приезд из Праги в 1927 г. семьи профессора римского права — Давыда Давыдовича Гримм. И он сам, и его сын Иван Давыдович — оба стали читать лекции на юридическом факультете Тартуского университета. Оба были интереснейшими собеседниками для своих умных гостей. А мы — молодежь — совершенно

очаровались женой Ивана Давыдовича — Марией Владимировной, читавшей нам свои стихи. Особенно одно было пленительно, написанное о себе самой:

Венцом уложенные косы, под ними легких дум игра. . .
Люблю дымок от папиросы, у желтой лампы вечера.

Над старой книгой иль картиной пробора узкого наклон
И дружбу умную с мужчиной, который не в тебя влюблен.

До приезда Гриммов настоящей профессорской семьей была только семья профессора Михаила Анатольевича Курчинского. Стиль семьи всегда определяет личность жены. Любовь Александровна даже внешне была, как королева. Она была красивая, умная, добрая, очень деятельная, но без всякой житейской суеты. У Курчинских, раз в неделю, по-моему, по пятницам, собирались знакомые на своеобразные литературные чтения. Рижское издательство необычайно быстро переводило и издавало европейские новинки, широко выпускало все интересное из печатавшегося в Советском Союзе. Любовь Александровна читала вслух, все рукодельничали. Обычно же русские семьи общались на днях рождений и именин, где определяющим было убранство и обилие праздничного стола и велись житейские пересуды. Маме моей, как врачу, прощали неучастие в таких застольях.

На все интересное мама брала меня с собой — к Курчинским обязательно.

Литературные собрания бывали в доме Ленкиных. Там собиралось, наверное, большинство «пишущих» русских мужчин. В мои 15 лет я как-то не сумела их оценить. Они мне что-то не нравились, не нравятся и сейчас. Наиболее ярким был Владимир Федорович Александровский. Потом он сделался эстонцем — Вальмаром Адамсом, — но остался таким же экстравагантным, как и в свой русский период.

Мне очень нравилось и была нашим добрым и верным другом жена Николая Петровича Ленкина — Серафима Константиновна.

Движение в Прибалтике разрасталось. После Софьи Михайловны Зерновой в апреле 1927 г. приезжал профессор Н. А. Бердяев. Им были прочитаны три лекции: «Душа современного человека и христианство», «Марк-

сизм, нищестанство и христианство», «Религия и наука». Художник Климов нарисовал Бердяева, беседующего с молодежью, рисунок хранится в архиве Б. В. Плюханова.

На Пятом Общем съезде Движения, проходившем во Франции, в местечке Клермон, уже были два представителя рижских кружков — Надя Истомина (Надежда Павловна Буковская) и Николай Петрович Литвин. На съезде были разработаны основные положения устава Движения:

«Русское Студенческое Христианское Движение за рубежом имеет своей основной целью объединение верующей молодежи для служения Православной церкви и привлечение к вере во Христа неверующих. Оно стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить защитников веры и церкви, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом. Движение состоит из местных объединений. Общими органами РСХД являются общий съезд, Совет и Центральный секретариат».

Председателем Движения был профессор Василий Васильевич Зеньковский, священником Движения — протоиерей Сергей Четвериков.

Было решено созвать первый прибалтийский съезд Движения. Он состоялся 1–6 августа 1928 г. в Латвии, в пятидесяти километрах от Риги, в старом православном женском монастыре — Преображенской пустыни. Съехалось около 60 человек, из них четверо из Парижа — Василий Васильевич Зеньковский, Лев Александрович Зандер, о. Лев Липеровский и швейцарец Густав Густавович Кульман. На фотографии я насчитала десять человек из Эстонии.

Великое счастье, что не только написана, но и издана книга Бориса Владимировича Плюханова «РСХД в Латвии и Эстонии» (Париж, 1993). Она вместила воспоминания активных, идейных участников Движения, сохранила содержание докладов на замечательных движенских съездах. Книга продлила не только земную жизнь самого автора (она вышла через неделю после его смерти), но и тех, чьи воспоминания и письма приводятся в ней. Все это стало возможным благодаря пониманию, уму и доброте Никиты Алексеевича Струве — директора издательства ИМКА-ПРЕСС, — сразу же принявшего в печать книгу.

Съезд в Преображенской пустыни меня совершенно ошеломил. Природа, встречи с движенцами из других

городов, церковные богослужения, замечательные доклады наших руководителей, распахнувшие горизонты, заставлявшие нас думать, — это неповторимая атмосфера движенских съездов.

* * *

Не успела я прийти в себя, как было решено не пропускать возможности послать кого-нибудь из Тарту на общий съезд Движения, который должен был проходить около Амьена (во Франции) с 10 по 16 сентября 1928 г. Но студенты не могли пропускать начало занятий и отсутствовать в сентябре. Митя Маслов не считал для себя возможным принимать от Движения деньги и придумал поехать с экскурсией в Париж, а там отстать от нее и быть на съезде. Небольшие деньги были, и решили послать меня, только что перешедшую в последний класс гимназии. Иван Михайлович Тофф — наш директор — меня отпустил, сказав, что пропущенное я догоню, а это будет мне духовный багаж на всю жизнь.

В Риге я была поручена ехавшему на съезд Димитрию Владимировичу Буковскому, студенту юридического факультета, впоследствии активному члену Рижского и Даугавпилсского Единения, написавшему прекрасные воспоминания. Я была скромная, перепуганная девочка, а Димитрий Буковский был уверенный в себе, кончающий студент, влюбленный в свою невесту. Паровозы в те времена топились углем. Влюбленный все время стоял в коридоре, высовывал голову в открытое окно и шептал пламенные слова. А моя обязанность была вытаскивать кусочки угля, попавшие ему в глаза. Кроме того, на станциях он часто бегал опускать написанные им письма, а я изводилась от страха, что он не успеет вскочить обратно в вагон. Мы ехали двое суток, никаких спальных мест у нас не было. Я сидела, а его голова лежала на моей подушечке, на моих коленях. Так что кто кому был поручен?

Так я оказалась во Франции на шестом Общем съезде Движения — единственная школьница. «Вот каких делегатов присылает Прибалтика, даже с косой!» — сказал наклонившийся надо мной улыбающийся человек. Это был Иван Аркадьевич Лаговской — мой будущий муж.*

*Подробнее о съезде Т. П. Милютина пишет в своих воспоминаниях «Три года в русском Париже» (см.: Уч. зап. Тартуского

После съезда к нам — рижской студентке Жене Македонской и ко мне — подошел профессор Федотов, протянул мне ключ от своей квартирки в Латинском квартале и сказал, что семья его уже на даче и он уезжает — квартира две недели будет совершенно пуста, и мы можем в ней жить, чтобы посмотреть Париж. Вот было чудо! Денег у нас было мало, в гостинице мы бы жить не смогли. Для нас это было большое благо! Так для меня Георгий Петрович Федотов и остался чутким, деликатным, нежным и внимательным. И как странно было мне потом слышать мнение других, да и самой видеть его в споре. Оказывается, он считался самым беспощадным спорщиком.

Мы целую неделю пробыли в Париже. Вечером просто падали от усталости. Помогали нам осматривать удивительный город — по очереди — отец Лев Липеровский и Иван Аркадьевич Лаговский. Кормили нас в столовых обедом. Утром и вечером мы — из экономии — ели только булку, запивая ее сидром. Не понимая, что это хотя легкий, но все-таки алкоголь, радовались дешевизне этого яблочного напитка и своему легкомысленному и бездумному настроению. Мы все никак не уезжали из Парижа. Поезд в Тарту приходил в два часа ночи. Моя мама три ночи подряд ходила к поезду! Приехав, я не могла остановиться и перестать восторженно рассказывать. Проспала до вечера, была разбужена, накормлена и снова спала до утра. Пришла в гимназию — писали сочинение на литературную тему. Моя любимая учительница — Нина Борисовна Срезневская — дала мне тему: «Париж»! Ничего и никогда в жизни я не писала с таким удовольствием!

Так начался мой последний школьный год, который стал годом волнений и переживаний. У Лены Мюленталь открылся туберкулез, она тяжело болела, закончила вместе с нами, освобожденная от экзаменов. Ее нет на нашей выпускной фотографии. Потом для нее последовали годы лечения в Давосе.

Что-то странное и непонятное начало твориться в семье Гриммов, которая для всех нас была идеалом семьи: старшая пара — профессор Давыд Давыдович Гримм и его жена Вера Ивановна; молодая пара — Иван Давыдовыч, статный, с военной выправкой, умный, остроумный,

интереснейший рассказчик и его жена Мария Владимировна — красивая, женственная, с русыми косами, пишущая стихи, умеющая создать вокруг себя атмосферу возвышенного, отрешенного от житейского. И, наконец, прелестный пятилетний Костя. И все это рухнуло!

Любая обычная семья покрыла бы порицанием поведение молодой женщины. Но тут сказалось высокое благородство семьи Гримм: с самого начала взаимное увлечение Марии Владимировны Гримм и Василия Александровича Карамзина стало считаться встречей двух, предназначенных друг для друга душ. Мне впечаталось в память, как Иван Давыдович просил у моей мамы разрешения для этой влюбленной пары бывать у нас, так как ему было невыносимо смотреть, как они были вынуждены в любую погоду гулять по дорожкам парка, не имея никакого пристанища. У Гриммов встречаться они не могли, а женщине прийти в комнату одинокого мужчины — в те времена — считалось позорным. Будущее показало, что все, действительно, было возвышенно и чисто, что это была настоящая любовь, но мне было обидно за Ивана Давыдовича.

О Марии Владимировне Карамзиной теперь много написано — и Верой Владимировной Шмидт, знавшей и любившей ее, и Любовью Николаевной Киселевой, и Вадимом Николаевичем Макшеевым, мальчиком знавшим Марию Владимировну и в Эстонии, и на сибирском поселении. Я горжусь тем, что имею его рассказы, автобиографическую повесть «У разбитого зеркала» — с дарственными надписями, интересные письма этого замечательного человека.

Я считаю Вадима Макшеева чудом. Пятнадцатилетним он был увезен на поселение, на гиблые торфяные болота Васюгана, похоронил там сестренку и мать (отец умер в лагере), остался один, прожил там среди сельских жителей (бывших раскулаченных) двадцать лет — и ничего не утратил из своей врожденной интеллигентности. Каковы сила наследственности и личная одаренность! Так остался жить в Сибири, в Томске, стал писателем. Я считаю, что знакома с ним лично: я видела его — очаровательного трехлетнего мальчика, сидящего на плечах у Ивана Давыдовича Гримма. Для прочности Димочка Макшеев всунул свои пальчики в уши Ивана Давыдовича, а тот крепко держал его свисающие ножки и, смеясь, показывал, что ничего не слышит.

Семья Гриммов была драгоценна еще и тем, что к ним приезжал Владыка Сергей Пражский. Что это был за удивительный епископ! В моей дальнейшей жизни мне посчастливилось видеть достойнейших архипастырей, но даже среди них епископ Сергей Пражский светится своей особой сияющей добротой, заботой о своих духовных детях, заинтересованностью в их судьбах. В первый свой приезд в Тарту он был с младшим сыном философа Петра Бернгардовича Струве — Аркадием, который нам всем очень понравился, и мы, вслед за Гриммами, звали его — Адя (теперь я знаю, что это дядя Никиты Алексеевича Струве). Тогда еще все было в семье Гриммов благополучно, хотя на сохранившейся фотографии Василий Александрович Карамзин стоит за стулом Марии Владимировны.

Очевидно, о трагических событиях и близившемся разводе писалось в письмах, и Владыка воспринял все, как обычную историю женской измены и полное непонимание святости брака.

Весной 1929 г. я кончала гимназию, которая была уже городской, и предстоял экзамен по математике. Узнав об этом, ученики в панике бросились брать уроки — преподаватель математики был у нас очень несовершенный. Большинство обратилось к молодому человеку, в силу обстоятельств не кончившему университета, но блистательно готовившего студентов по высшей математике. Я восприняла как чудо, что математика, казавшаяся мне непонятной и ненужной, вдруг стала осмысленной и гармоничной. Задачи на экзамене показались преувеличенно простыми.

Сразу после окончания гимназии, в начале июня 1929 г., мы с мамой поехали в экскурсию с Таллиннской Русской Городской Гимназией. На этот раз это были Австрия и Чехословакия. Чудо, а не экскурсия. После увлекательнейшей Вены мы ехали вдоль Дуная в чем-то очень стеклянном — я не уверена, но, по-моему, это был трамвай. Какой был противоположный берег, какие замки были на нашем пути! Одно только — Дунай голубым не был. И Братислава, и Брно были чудесны, но лучше всего были Татры. Горная гостиница была высоко на берегу озера (Штрбске Плесо — горный курорт). А кругом вершины!

Впереди была Прага. На маму была возложена миссия быть у Владыки Сергия, подробно рассказать ему трагедию семьи Гримм и постараться изменить его осуждающее отношение.

У меня были свои волнения: с осени шла переписка с Иваном Аркадьевичем — он помогал в работе школьного кружка. Предполагалась встреча. Где-то недалеко от Праги был съезд Движения.

Мы попали в Прагу в замечательные дни памяти Яна Гуса. Наши экскурсанты стояли на краю тротуара и смотрели на идущую мимо процессию. Шли молодежные организации — «Соколы» — лилово-красные ментики, соколиное перо на шапочке, «Орлы» — голубые ментики, орлиное перо. За каждым отрядом шли молодые девушки данного городка или местечка. Как яркие и хороши были их национальные костюмы с бесчисленным количеством накрахмаленных юбок, чуть выглядывавших одна из-под другой! Вечером, подсвеченные красными прожекторами, фонтаны казались гигантскими кострами!

Разговор Владыки Сергия с мамой был долгим. Сначала за чайным столом — так обычно всех принимал Владыка, сам хозяйничая, наливая чай и угощая вареньем. Потом я была отправлена на кухню, белоснежную и чистейшую, где отец Серафим, келейник Владыки, в большом медном тазу варил абрикосовое варенье. Я была представлена «тетечке» — хозяйке этой квартиры — старой, приветливой, очень Владыкой чтимой. В молодости она была певицей в театральном хоре. Из уважения к «тетечке» Владыка ничего не хотел менять в комнате. Поэтому там остались зеркала, очень меня вначале удивившие, и даже фотография молодой «тетички».

В конце 1994 г. я получила из Калифорнии от Ольги Петровны Раевской-Хьюз (бывшей в Тарту в октябре на конференции) сборник воспоминаний о Владыке Сергии Пращском, составленный ею. Какая это светлая книга! Я будто снова все увидела. . .

Отец Серафим был в прошлом белый офицер. Он и несколько молодых офицеров надеялись освободить царскую семью, но было уже поздно. К Владыке он попал в предельном отчаянии, на пороге самоубийства. Владыка его спас.

За два дня до отъезда группа нашей экскурсии, ходившей в обсерваторию, попала под грозовой ливень. Со-

вершенно мокрые мы вбежали в школу, где остановилась экскурсия. Встретившая нас тетя Зина сказала, что меня кто-то ждет. Это был Иван Аркадьевич.

Весь следующий день мы ходили по чудесной Праге. Иван Аркадьевич все время был с экскурсией, много говорил с мамой, был серьезный разговор со мной, очень меня перепугавший. На следующий день мы уезжали домой, в Эстонию. На вокзале нас провожали Владыка Сергей с отцом Серафимом, Владимир Николаевич Кульман и Иван Аркадьевич. Владыка широко перекрестил группу наших экскурсантов, не сводивших с него глаз, благословил маму и меня. Прощаясь, Иван Аркадьевич поцеловал руку не только маме, но и мне, чего не надо было делать. Все сразу же заподозрили что-то особенное.

Разлука была недолгой — с 4 по 11 августа проходил второй съезд РСХД в Прибалтике. Он был устроен в Печерах, в монастыре. Это был самый праздничный из всех прекрасных Прибалтийских съездов.

Печерский съезд был и самым многолюдным — около трехсот участников, половина из которых была из Латвии.

Докладчики были не только из Парижа — отец Сергей Четвериков, Лев Александрович Зандер, Лев Николаевич Липеровский, Иван Аркадьевич Лаговский, но и местные — епископ Печерский Иоанн, Василий Васильевич Преображенский и Александр Иванович Макаровский — историк, покоровивший все сердца рассказом об истории Печерского монастыря, а затем и об Изборске, во время поездки на четвертый день съезда в Изборск. Все смотрели с Городища в сторону далекого Пскова. В хорошую погоду можно было видеть собор.

На съезде и в поездке был Павел Францевич Андерсон, верный друг русских и Движенья, директор издательства ИМКА-ПРЕСС. Чудесно сказано о нем в книге Б. В. Плюханова: «Он впился биноклем в белое облачко-храм, долго внимательно рассматривал его, потом опустил бинокль, перекрестился православным крестом и сказал: "Сподобил Бог!"»

В предпоследний день съезда исповедь началась во время всенощной и продолжалась до двух часов ночи. На следующий день почти все шли к причастию.

Осенью я поступила на филологический факультет. Была наивна и неосведомлена, воображала, что это изучение поэзии и литературы. Разочарование было полное: это была латынь и праславянский язык и лекции Стендера-Петерсона, тогда уже известного ученого, ужаснувшего меня своим «формальным методом». Дополнительно я записалась на «Историю искусства» — это было утешением — и бегала на лекции швейцарского физиолога Флейша. Моя двоюродная сестра Таня тогда училась на медицинском факультете и очень его хвалила. И немецкий я не так-то знала, и к медицине была равнодушна, но какое удовольствие и счастье слушать талантливого человека!

Я сразу же вступила в «Общество русских студентов», и как это было хорошо и интересно. Освоиться с «Обществом» всем новичкам помогал Митя Игнатов-Зея — такой душа-человек! — добрый и остроумный, не устававший возиться с новичками.

С 3-его по 5-е января 1930 г. в Латвии, в Режице был Религиозно-Педагогический съезд. В нем принимало участие около 80 человек из городов Латвии и Эстонии (Валка, Нарвы, Печер, Ревеля и Юрьева). Руководили съездом Лев Александрович Зандер, который был тогда секретарем Прибалтики, и приехавший из Парижа Иван Аркадьевич Лаговский. Участниками были педагоги, студенты и школьники.

Очень хороши и интересны были доклады, но в моей памяти остались вечерние прогулки с Иваном Аркадьевичем. После съезда он уехал в Латвию, выступал с докладами о положении церкви в Советском Союзе, о борьбе с неверием. В начале февраля он приехал в Тарту, жил у Гриммов, день проводил у нас. Еще стояла нарядная, по вечерам свечащаяся и звенящая елка. 8-го февраля он уезжал в Париж. По просьбе Ивана Аркадьевича в этот вечер у нас был отец Анатолий Остроумов, который и совершил обручение. Сияла огнями елка, на наши левые руки были надеты кольца. Долгие годы я разбирала елку только после 8-го февраля.

Иван Аркадьевич делал по пути остановку в Валке. Там замечательная семья Желниных — четверо детей студенческого возраста — создала кружки Движения. Иван Аркадьевич очень жестикулировал, когда говорил. Мне не хотелось, чтобы увидели кольцо, и я забинтовала ему

палец. Просила его держать руку в кармане, хотя это и не полагается. Ничего не помогло — его поздравляли, рука была сразу же разбинтована.

* * *

В марте наша жизнь совершенно изменилась: мама на три месяца была назначена заместителем главврача туберкулезного санатория в Таагепере (на юге Эстонии). Я бездумно бросила университет и апрель, май, июнь прожила с мамой в Таагепере. Вокруг санатория, который размещался в замке, был парк, переходящий в лес. В первый раз в жизни я видела весну — каждый ее шаг. Незабываемо!

В конце июня приехал Иван Аркадьевич. Поселился внизу, в поселке. В июле — с 20-го по 30-е — в Пюхтицком монастыре должен был быть третий Прибалтийский съезд Движения.

Больные в санатории очень полюбили маму. Маленький автобус, который должен был отвезти нас до железной дороги, — был полон цветов. Маму провожали молодой врач и представитель от больных. Все заранее было обдумано: на полпути, в районном управлении, была наша регистрация. Провожаящие маму были нашими свидетелями, цветы говорили сами за себя.

Регистрацию мы браком не считали. Иван Аркадьевич поселился, как и прежде, у Гриммов, а потом уехал на деловой съезд, который был в Пюхтицком монастыре. Было 70 человек — делегаты из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и Франции. С 24-го начался собственно съезд. На него приехало столько народу, что он оказался таким же многочисленным, как и Печерский.

Начался съезд трагически — во время литургии первого дня привезли гроб со сгоревшим мальчиком.* После литургии, открывавшей съезд, была заупокойная литургия и похороны. Это придало особую серьезность съезду.

*Недавно в тартуской «Русской газете» от 21-го февраля 1995 г. педагог Светлана Ситникова рассказала о своих родных, прекрасной нарвской семье, очень мне близкой (две дочери-движенки, сгоревший мальчик — их брат): «Заходила гроза. Надо было спешно сгребать сено. Толе очень не хотелось идти, но отца не ослушаешься. Молния ударила в граблевище, когда брал охапку сена. Вспыхнул факелом».

Съезд проходил все время на открытом воздухе, на лужайках. Часто над нами кружил военный самолет. Это всех встревожило, а оказалось, что муж одной из участниц съезда был военным летчиком и так приветствовал свою милую жену.

После съезда Иван Аркадьевич опять жил в замечательной семье Гриммов, ставшей теперь очень «мужской»: Марии Владимировны больше не было — она жила в Кивиили, став женой Василия Александровича Карамзина.

6-го августа 1930 г. в Тартуском Успенском соборе было наше венчанье. Парижане еще не уехали, и нас венчал о. Сергей Четвериков, посаженными отцами были Василий Васильевич Зеньковский и Давыд Давыдович Grimm. Главными шаферами были Иван Давыдович Grimm (хотя разведенному это не полагается) и Митя Маслов. Свадебное застолье было у нас, мы использовали для этого и квартиру наших эстонских соседей. Говорились веселые и остроумные речи. Василий Васильевич сказал, что все привыкли к тому, что Тамару похищает демон, но тут утешает то, что похититель из Аркадии, т.к. Аркадьевич! Все гости провожали нас на ночной поезд. Мы забыли большую корзину со всякими вкусными вещами, приготовленную для нас мамой, и в дороге утешались яблоками, поднесенными нам в Риге движенцами. Были накормлены в Берлине — между поездами — в прекрасной семье Владимира Сергеевича Слепяна, который был руководителем «Витязей». Так как их квартира оказалась в 1945 г. в советской зоне Берлина — Владимир Сергеевич отбывал срок в сибирских лагерях.

Иван Аркадьевич говорил, что у него было чувство, что он женился на новорожденной — так неостановимо я плакала всю дорогу. Я не могла понять, как я — уже взрослая (месяц, как мне исполнилось 19 лет) — могла променять свою маму, друга моего — на этого, наверно, хорошего, но чужого человека.

В Париже, на Северном вокзале, нас встречала Аня Смирнова, наша таллиннская движенка, — с ключами от квартиры Милицы и Николая Зерновых, которые на месяц уехали на Корсику и позаботились, чтобы у нас было пристанище до отъезда тоже на юг.

В Париже я прожила три с половиной года из десяти лет моего по-настоящему счастливого замужества.